

# Игорь Шестков "Дом преподавателей"

## ДОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

(автобиографические заметки разных лет)

Дом внушал уверенность в незыблемости нашей советской жизни – сталинские архитекторы были магами успокоения. Дремлющий гигант, в пористом теле которого нашли убежище привилегированные птички – профессора университета и их семьи. Мы жили на четвертом этаже, окна и балкон выходили на проспект. В реве автомобилей и скрежете трамваев слышалась какая-то странная мелодия. Московская поэма грохота. Иногда казалось, что с проспекта в наши окна стреляет тяжелыми ядрами линкор – кинотеатр «Прогресс». Солнце закатывалось за метро Университет. Над подземным заводом кружились летающие тарелки...

Зимой запах бензина смешивался с запахом снега, летом – с ароматом цветущих лип.

Я гулял с няней во дворе. Качался на качелях, строил башни из песка. Бормотал что-то про себя. Меня спрашивали – на каком это языке ты говоришь? Я отвечал – на марсианском. Разве вы не знаете, что я марсианин? У меня под пальто – крылышки...

Там же, во дворе, на лавочке, сидела старенькая бабушка. В любую погоду – в сером драповом пальто и в старомодной шляпке с потемневшими искусственными цветами, из под которой выбивались седые волосы. Она тоже часто бормотала что-то себе под нос. В ее черных глазах застыл непонятный нам, родившимся после смерти Сталина, ужас. Шести-семилетние дети немилосердно дразнили ее, дёргали за воротник, пытались сорвать и унести шляпку.

Мне не было тогда жалко эту женщину, наоборот, я получал наслаждение от безнаказанности зла.

Когда я, пятидесятилетний обрюзгший нарцисс, встречаюсь на берлинской

улице взглядом с молодыми людьми и замечаю в их глазах иррациональную злобу – вспоминаю московскую бабушку в сером драповом пальто. Война поколений, самая безжалостная из всех войн, докатилась и до меня.

В широком коридоре нашей квартиры стоял на подставке деревянный телевизор с маленьким экраном и диван. По вечерам там смотрели новости, кино «про войну», спектакль или футбол. Загадочная белая точка перелетала от одной крошечной фигурки к другой. Мне хотелось взять ее пальцами и положить в рот. Попробовать на вкус...

Комната, в которой я жил с мамой и папой, выходила дверью в коридор, и телевизор часто мешал мне заснуть. Я лежал на детской диван-кровати и наблюдал, как ездят по стенам и по потолку полосы желтого света, как поблескивает латунный обод люстры и отсвечивают стекла на книжных полках, как возникают и исчезают таинственные фигуры в темных углах. Я вспоминаю это далекое время и мне кажется, что я видел тогда в отблесках и отсветах все, что мне пришлось позже пережить и увидеть...

Пытаясь перебороть назойливый шум, доносившийся из коридора, я заворачивался в одеяло с головой и представлял себе Ленинские Горы. Среди синих заснеженных холмов сидит на ледяном троне величественный старец в белых одеждах – Ленин. На его ладонях лежит переливающийся огнями город-кристалл – Москва. Дома – огромные разноцветные стеклянные призмы. Вот четыре башни нашего дома. Вот и наше окно. За тюлевой занавеской – зеленоватый свет от настольной лампы. Отец перелистывает книгу Ферсмана.

Любимой книгой моего детства была «Элементарная астрономия» Струве. Спиральные и шаровые галактики, голубые гиганты и белые карлики, новые и сверхновые, квазары и черные дыры, кольца Сатурна и красное пятно на Юпитере – привлекали не столько величием, красотой, сколько сверхчеловеческим масштабом бытия, гордой внеисторичностью, астрономической вечностью. Моих начальных знаний в математике хватало, чтобы понять, что бесконечно большая массивная вселенная, наполненная мерно летающими звездами, планетами и облаками пыли – это физический абсурд. Не

верилось, что Всевышний сотворил скучную, вечно крутящуюся непонятно для чего, светящуюся баранку.

Хотелось найти окна, двери, проходы в нематериальные миры, нащупать места истончения материи, линии недействия законов природы, провалы, проколы, расщепления...

Даже разделенные миллиардами световых лет массы притягивают друг друга, силу их притяжения можно высчитать по простенькой формуле. Т.е. они как бы «знают» о существовании друг друга, влияют друг на друга, пусть и слабо.

Может быть, тоже происходит и с людьми? Среди миллионов желтеньких огоньков, покрывающих Землю, я пытался найти мигающую человеческую звезду где-нибудь в Китае или Индии и поведать ей о моем детском одиночестве. И измерить взаимное притяжение...

Светил маленьким фонариком в небо, посылал жителям других миров и времен крохотные фотоны-кораблики. Вот уже пятьдесят лет несутся они в межзвездном пространстве и будут и дальше лететь миллиарды лет... Если не попадут в пасть к маленькой зеленой камнеежке.



## ВСЕ ВЫ СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ

Поехали мы с дедом на вокзал встречать сестру моей бабушки. Вошли в метро «Университет». Спустились. Я уже тогда страдал приступами клаустрофобии, мне казалось, что пространство вдруг сложится как гармошка и раздавит. Поделился своим страхом с дедом – он уверил меня, что инженеры все рассчитали и все будет хорошо. Подошел поезд. Вошли в вагон, сели на коричневые сиденья. Проехали Метромост, Парк Культуры, Дзержинскую. Вот и Комсомольская. Три вокзала. Поезд опаздывал – пришлось ждать. Был ранний московский зимний вечер, бурый, снежный, влажный. Народу на вокзале – тьма.

Носильщики с чемоданами носятся. Все спешат. Люди нервные – толкаются, ругаются, суетятся. Бабки в старомодных синих приталенных полупальто с узлами и баранками тащатся в сторону метро. Броуновское движение. Стоим мы у какой-то перекладины и ждем, а около нас еще один человек стоит. И толпу разглядывает. Внимательно, как будто в первый раз людей увидел. Маленький такой мужичишко, рыжеватый, лет пятидесяти пяти. Сразу видно – психованный. Дети, как известно, не могут оторвать взгляд от сумасшедших. Я осторожно его наблюдал. Лицо мужичка отражало внутреннюю борьбу, видно было – ему тяжело, его что-то распирает, он едва сдерживает себя. Надо было ему освободить душу от мучительного груза... Позарез надо. Наконец, его внутреннее напряжение достигло наивысшей точки – сдерживать себя он больше не мог и не хотел. Мужичок сжал кулачки, изо рта его выступила пена, и он закричал, так громко, как мог, страшными, округлившимися глазами буравя толпу: «ВЫ ВСЕ ТУТ – СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ!!! ВСЕ ВЫ СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ!!!» И еще раз, еще громче, срывая связки и закатывая глаза. И еще и еще... Я оцепенел. И толпа замерла. Но только на мгновение. Через секунду все шло дальше, суетились и уже не слушали истошных криков. Вскоре появилась милиция. Крики прекратились. Дед взял меня за руку, мы пошли на перрон.

## В ДОНСКОМ

Донской монастырь был островком покоя и чистоты в шумном и грязном фабричном районе. Пройдя под знаменитой розовой колокольней, посетитель оказывался в другом, не московском мире. Кладбищенская тишина нарушалась только шелестом листьев и пением птиц весной и летом. Москва давала о себе знать низким гулом, похожим на шум морского прибоя в пустой раковине. Я приходил туда весной, когда деревья и кусты только начинали зеленеть и из черной кладбищенской земли вылезали солнечные одуванчики и небесные фиалки. Поклонившись нескольким знакомым могилам, сидел на лавочку, раскладывал на ней акварельную бумагу, перья и тушь. Рисовал надгробья и деревья, наслаждаясь их естественной графичностью. Потихоньку мной

завладевало блаженство сосредоточенности – внутренние образы и мысли, эти серые зверьки, превращались в огнекрылых серафимов и сердце переполнялось чувством полноты и радости жизни. В подобном состоянии я разговаривал с мертвыми обитателями могил, смотревшими с вделанных в каменные надгробья фотографий. Говорил с ними как с живыми, без пиетета или иронии.

Рассказывал им что-то, о чем-то спрашивал. И мне казалось, что они отвечают мне моими мыслями.

Вот так сидел я однажды и рисовал, говорил и слушал... Голова у меня была опущена, внимание было долго сосредоточено на рисунке. То, что я увидел, когда оторвался наконец от бумаги и поднял голову, поразило и испугало меня.

Рядом с могилами стояли их обитатели. Стояли и молча смотрели на меня.

Одеты были покойники не в лохмотья или саван, а буднично, как при жизни. Это были не привидения, не духи – а мертвые, в которых проявилась другая, незнакомая мне форма существования. Я ущипнул себя за руку. Не помогло.

Восковые, застывшие их лица не были изъедены тлением. Глаза, неподвижные, мутные, но не мертвые, а как бы усталые, смотрели на меня с укором. Я не сразу заметил, что у ставших полупрозрачными стен монастыря стояли сотни или тысячи покойников, а за стенами – сотни тысяч. Все они глядели на меня, разрывая мне сердце молчанием и укором. Уж лучше бы бросились на меня и загрызли. В изнеможении я закрыл глаза и не открывал их долго длящуюся минуту. Багровые камни перекатывались между зрачками и веками. Уши резала тишина. Когда я открыл глаза, мое кинематографическое видение исчезло.

Дома я рассказал о пережитом бабушке. Она вздохнула и посоветовала мне готовиться к сессии, а не таскаться по кладбищам. Вечером, однако, рассказала мне шепотом, что в сталинщину и в самом монастыре и на территориях, примыкающих к нему со стороны крематория, в огромных ямах хоронили замученных на Лубянке людей. Сколько их было – никто не знает.

«Странно, – добавила бабушка. – Я думала, что души несправедно убиенных являются только своим палачам. А они выбрали ребенка, чтобы напомнить о себе. Ведь их убийцы и мучители не только не наказаны, но награждены, пользуются почетом и привилегиями. Многие живут не так далеко от Донского... Их бы и укоряли!»

## СЧАСТЬЕ

Счастье приходило ко мне только в детстве и юности. Причем только в те моменты, когда происходила пусть маленькая, но катастрофа. Счастье приходило как компенсация.

Завалил я однажды экзамен в школе. По математике. С позором. Не смог найти решения Диофантовых уравнений. Вышел на Ленинский проспект.

Декабрьские московские сумерки. На земле – снежная каша. Синеватые тени мелькают. Машины мигают желтыми и красными огнями. Снег идет. Крупный, мокрый. Все спешат по домам. А у меня на сердце кошки скребут – дома придется рассказывать о моем позоре. И тут, назло логике, погоде, назло всему – меня охватило радостное чувство. Озарение. Счастье. Я живу! Все прекрасно. Снег прекрасен. Синие московские тени загадочны. Они влекут меня к чему-то интересному, важному, перед чем вся математика – детский лепет...

Повинуясь этому зову я перестал ходить в школу. Из дома я пунктуально выходил, но шел не в школу, а, встретившись у универмага «Москва» с моим другом Женей, уезжал с ним в кино, в «Иллюзион». Чтобы посмотреть фильмы Бунюэля или Пазолини.

В конце концов и меня и Женю из школы выгнали. Казалось, вся жизнь была испорчена, но вышло иначе. Мы оба закончили другие школы, потом и университет, работали в престижных научно-исследовательских институтах. Все это однако радости не приносило – счастье мы испытывали только в те, украденные у школы, пьяные дни отрочества.

Дело было в самой геометрии дня. Светлое состояние времени и пространства – день – не терпит никакого насилия. Адам не был создан для работы или любви, а только для свободных прогулок в Эдемском саду.

## ГОРЯЩАЯ БУМАГА

Я люблю запах горячей бумаги. Бабушка Аля работала в конструкторском бюро при обсерватории. Приносила домой бракованные линзы, давала мне, и я прожигал ими бумагу. Зимой московское солнце было слабое – белая писчая бумага не загоралась, зато покрытая черным шрифтом газета быстро выпускала струйку серого дыма и на месте маленького солнышка образовывалась дырочка, траурные края которой пламенели и расширялись. А летом удавалось зажечь и красивую финскую бумагу, лежавшую на письменном столе. Эту бумагу доставал дед, а использовали ее мои ученые родители для чистовых экземпляров научных работ.

Сгорела как бумага жизнь моей семьи. Сгорела в огне времени и даже пепла от нее не осталось. Забыты никому не нужные научные статьи. Исчез письменный стол. После смерти отца, мама вышла замуж за отчима. Дед помог нам купить маленькую кооперативную квартиру. Мы переехали. А большую квартиру в Доме преподавателей, в которой я научился прожигать бумагу, разменяли, в ней уже сорок лет живут чужие люди.

Бабушка Аля умерла через два года после моего отъезда за границу, дедушка Миша пережил ее на два года. Бабушка умерла от старости не дожив месяца до восьмидесятилетия, мучившая ее тридцать лет астма в конце жизни отступила, и смерть взяла ее без боя, во сне. Позже мать говорила мне, что бабушка ушла из жизни добровольно, от тоски по мне.

Ее тело нашла утром домработница, бабушка лежала в спальне, в которой провела четверть века, на своей кровати. На тумбочке лежала пустая упаковка сильного снотворного.

Недавно приснился мне про бабушку сон.

Будто еду я в автобусе по Ломоносовскому проспекту. Проезжаю мимо Дома преподавателей. Во сне дом – в несколько раз больше, чем в действительности – нечто громадное, кристаллическое, темное. Вижу освещенное золотистым светом окно на восьмом этаже. Знаю, в доме никто не живет, люди давно покинули его. Время идет медленно в этом сне. Все мрачно и темно. Вдоль улицы стоят тусклые желтые фонари. Вокруг – силуэты громадных черных зданий, смутно напоминающих Красные дома за кинотеатром Прогресс. В автобусе стоит почему-то телефонная будка. В ней старомодный телефонный



аппарат. Набираю номер бабушкиной квартиры. Зову бабушку. Бабушка отвечает: «А, это ты, сынок. Я так устала, у меня приступ, ты слышишь как хрипят мои бронхи? Это злая колдунья Дардуна – она сидит в моем горле и душит меня. Знаешь, все было бы иначе, если бы Гера вернулся тогда. Все было бы так хорошо. Где дедушка? Он обещал сегодня прийти пораньше. Но его все нет. Я лежу одна целую вечность».

Я говорю: «Я зайду к тебе».

Кричу водителю: «Остановите автобус, выпустите меня!»

Но невидимый водитель не слышит меня, автобус едет дальше. В окнах ничего не видно, ни домов, ни фонарей, ни асфальта. Только темное марево.

Дедушка Миша умер в дурдоме. Туда его поместила моя тетка Раиса. Якобы после того, как дед ударил ее палкой по лицу. Может быть, Раисе просто неохота было тащить на себе одряхлевшего отца. За границей ее ждала хорошо оплачиваемая работа. Вот она и сдала деда в дурдом. А до этого избивала его пожилую любовницу, с которой он собирался в Израиль ехать, в гости к брату. Деду она сказала, что отправляет его в «летний санаторий», чтобы он подписал соответствующие бумаги. Мне тетка написала, что дед умер от кровоизлияния в мозг. Еще она написала, что дед не верил в то, что бабушки нет, и звал меня. Сколько вечеров мы провели вместе! Сколько раз предоставлялась возможность поговорить – но ни разу дед не использовал ее. Приходил с работы усталый и раздраженный. Взрывался и визжал, если я начинал говорить о политике. Деда не особенно трогали мои мнения. Его раздражала неизбежность моего и бабушкиного присутствия в его квартире. Моего – временного и бабушкиного – пожизненного. Что он хотел? Чтобы капризная больная старуха исчезла из его жизни и ее место заняла здоровая молодая баба с огромной грудью? И да и нет. На поверхностном уровне сознания – да. После девятичасового стресса дед хотел встретить дома уютную, вульгарную бабу, с которой можно после секса и выпивки вместе посмотреть футбол и новости по телевизору без иронических замечаний. С которой можно расслабиться. На более глубоком уровне сознания – нет. Там, в глубине души, все еще жил воспитанник «Анненшуле» из бедной, незадолго до революции перебравшейся в Петроград провинциальной еврейской

семьи. Неопрятный, невоспитанный, с грязными ногтями и плохо пахнущими носками, политически активный мальчик, влюбленный по горло в хрупкую музыкальную девочку из богатой еврейской семьи.

На семьдесят четвертом году жизни у деда начались сильные боли в животе. Вначале он никому об этом не говорил, терпел, злился и рычал на всех, надеялся, что пройдет само. Через полгода боль стала невыносимой. Дед пошел к врачу – в академическую больницу. Ему сделали неприятный анализ – слазили шлангом в зад, осмотрели кишку.

«Вот он!» – закричала врачиха.

«Кто?» – спросил дед.

«Полип», – ответила врач, прекрасно зная, что это рак. Деда положили в больницу. Он томился в зловещей больничной атмосфере – ему давали обезболивающее и разрешали свободно выходить. Дед бродил часами в парке близлежащего Дворца пионеров, готовился. Один раз я посетил его. В палате мне сказали, что дед гуляет. Я вышел из здания, огляделся, деда не было видно. На газоне перед входом в больницу три вороны клевали голубя. Один глаз ему уже выклевали, из открытого черепа сочилась кровь. Вороны клевали не торопясь, старались попасть в дырку на голове. Голубь пятился от них – ни летать ни ходить он уже не мог. Вороны давали ему отползти, но потом опять настигали и клевали, клевали, клевали. Я подумал, что судьба могла бы, по крайней мере, избавить человека от таких картинок. Отогнал ворон. Но прикончить голубя у меня не хватило мужества. Пошел искать деда. Издалека видел, как вороны, сделав несколько величественных кругов в высоте, приземлились на газоне рядом с голубем и опять начали клевать. Деда прооперировали. Операция длилась пять часов – и была успешной. Дед прожил еще одиннадцать лет. Рак больше его не беспокоил.

В ту самую ноябрьскую ночь, когда дед умер, мне приснился сон. Мне снилось, что я стою на «кругу», большой цветочной клумбе между Домом преподавателей и мертвым, без машин и людей Ломоносовским проспектом. На кругу нет цветов, все заросло бурьяном. Ветер воет. А в середине круга – топчется мой дедушка, потерянный и растрепанный как король Лир. В левой

руке у деда – белая бумажка. Дед улыбается. Подхожу к нему, беру его за руку. Говорю ему что-то, но дед явно не слышит меня. Смеется, как смеются безумные, показывает беззубый рот. Вырываю из руки деда бумажку – по виду это чек из магазина. На ней напечатано: «Предъявитель сего – слеп». Смотрю деду в глаза – дедушка действительно слепой, из-под его век сочится бесцветная жидкость.

Тогда, лежа на старой чужой кровати, я заплакал от тоски по нему, по бабушке, по навсегда исчезнувшей Москве моего детства. Но еще через несколько дней меня посетил совсем другой сон и тоже с дедушкой, от которого я долго не мог опомниться. В этом сне дед ласкал меня как женщину и рассказывал гнусные истории. Проснулся я в страшном возбуждении. Сперма брызнула мне на живот. Я вытер ее белой майкой, присланной мамой из Америки. Было темно в узкой, похожей на гроб, неотапливаемой комнате огромной квартиры, которую я после отъезда дочек и жены занимал один. Я встал и подошел к окну. Было шесть часов утра. Еще не рассвело, но во дворе уже началось движение – работники расположенных там мастерских парковали свои машины. Вокруг меня простирался безрадостный индустриальный ландшафт. Полумертвый город К. показывал мне свой гнусный оскал.

## ТРИ СМЕРТИ

Между нашим двором и Ленинским проспектом стоял гигантский Дом с зоомагазином. Об этом доме дети рассказывали страшные вещи – там живет Калина, он пытает детей, засовывает под ногти раскаленные до красна иголки. Мой просвещенный друг Васька авторитетно утверждал, что «Калина рвет девкам целку, а мальчикам вбивает в попу кол».

Что такое Калина, я не понимал. Мне представлялся одетый в черное высокий худой маньяк, который схватит своей жилистой рукой за руку, обернет черным пальто и утащит в темную квартиру в Доме с зоомагазином. Там сидят такие же как он страшные черные люди, пьяные и шипящие от злобы на нас, хорошо одетых детей из Дома преподавателей, они будут пытать, мучить до смерти. Не

только я, все дети нашего двора боялись Калину. Стоило только громко крикнуть: «Калина!» – и все играющие во дворе дети тотчас убегали в свои подъезды, поднимались на два-три этажа и занимали позиции у окон. Пытались разглядеть оттуда Калину. Но Калина не появлялся.

И вот, однажды, пропали два мальчика из нашего дома. Лет шести-семи. Их долго искали, но не нашли. Все дети были напуганы, возбуждены и почему-то радостны. Разумеется только и разговоров было, что про Калину. Рассказывали, что «мальчики эти – жиды», что «Калина ловит жидов, чтобы их выморить». Один мой семилетний приятель говорил важно, повторяя услышанное дома: «Давно пора очистить Москву от жидов!»

Что такое «жиды» я не знал и решил спросить об этом бабушку. Бабушка рассказала, что это бранное слово, обозначающее «евреи». На мой вопрос, кто такие евреи, бабушка ответила, что это такая национальность и потом почему-то добавила, чтобы я не боялся. Что такое «национальность» я спрашивать не стал. «Я твоего отца во время войны крестила в Томске, – рассказывала бабушка. – Поп тамошний крестил. За кастрюлю супа. Его и меня. Боялись погромов, думали, что немцы будут везде. Поэтому мы – христиане, православные. Но ты обо всем этом лучше никому не говори».

Я и не собирался говорить, потому что почувствовал в тоне бабушкиной речи, редкие для нее, – фальшь и замешательство. Долго размышлял над ее словами и пришел к выводу, что мы тоже евреи, жиды и стало быть Калина нас хочет «выморить» и, поскольку я был единственный ребенок в семье, опасность грозит мне одному. Вспомнилось, как мальчишки из открытых окон соседней школы кричали мне вслед: «Жид, жид, жирный жид идет», а я не знал, кого они дразнят. Вспомнилось и круглое, с двумя бородавками на подбородке лицо учительницы второго класса в английской школе номер четыре Александры Ивановны, лицо, вытянувшееся несмотря на свою круглость, когда на вопрос: «Эпштейн, какой ты национальности?» – я ответил: «Я русский».

«Нет! – прошипела Александра Ивановна. – Ты еврей».

Пропавших мальчиков нашли только через несколько месяцев. Их трупы лежали в заброшенной канализационной шахте. На них не было следов насилия, – скорее всего они сами влезли в шахту. Закрыли за собой чугунную крышку,

чтобы никто не видел их проделок, спустились по ржавой лестнице, которая под их тяжестью переломилась – и не смогли подняться. Их криков никто не слышал.

Правду про «Калину» я узнал значительно позже. Мой одноклассник Лебедев, работавший в московском уголовном розыске, нашел в архиве дело о семье Калининых, устроившей в Доме с зоомагазином «малину» для уголовников. О мучении детей или преследовании евреев информации в деле не было.

Мой отец утонул в реке Тимптон, притоке Алдана, впадающего в великую сибирскую реку Лену. От меня какое-то время это скрывали, но потом рассказали.

Черное горе. Черное и холодное как вода горной реки. В резиновой лодке был папа и его сотрудник Петр. Лодка налетела на подводный камень и перевернулась. Петру повезло – он оказался около лодки, ухватился за нее и выплыл. Папу отнесло от лодки. Роковую роль в его смерти сыграли резиновые сапоги – они набрались ледяной воды и мешали плыть. Папа кричал: «Петя, я тону».

Этот предсмертный крик стоит до сих пор в моих ушах. Я вижу белого отца в черной воде. Вода крутит его, несет, бьет головой о камень. Бесчувственный и окоченевший, он уносится в водяной колодец – в подземную реку, где и исчезает навсегда.

Матери сказали позже, что отец не имел права плыть на резиновой лодке по неисследованной реке, что если бы он остался жив, его отдали бы под суд за то, что он неоправданно рисковал своей и чужой жизнью. Так всегда в России – ты всегда сам во всем виноват и от неминуемой расплаты могут спастись только мертвые.

Смерть отца была для меня в каком-то смысле облегченной. Его тело так и не нашли. Отсутствовал труп, отсутствовала и могила. Не было тягостных и ненужных похорон. Поэтому это трагическое событие оставило после себя не проходящую боль, но не ужас. Ужас я впервые испытал, когда увидел труп молодой учительницы нашей школы.

Наша «пионерская дружина» носила имя замученной фашистами партизанки Зои Космодемьянской. Немцы били девушку ремнями и палками, прижигали ей лицо спичками, заставляли стоять босой на снегу. Затем повесили ее в присутствии всех жителей деревни Петрищево. В новогоднюю ночь солдаты искололи труп Зои штыками. Несмотря на пытки, Зоя не выдала планов командования Красной Армии. Историю эту нам рассказывали на бесчисленных «линейках» учителя и пионервожатые. Слушать ее мы должны были стоя, не двигаясь. Для моторных детей это было невыносимое мучение. Тело изнывало, начинало болеть, душа мучилась – перед глазами маячила несчастная повешенная партизанка с обнаженной грудью, исколотой штыками. Зверство фашистов с помощью долбящего голоса пионервожатой, похожей на старую девочку, передавалось на нас. Мы чувствовали, как наши тела колят штыки оккупантов. Язык вылезал изо рта, хотелось по-маленькому. Нас призывали проявить бдительность, выстоять, не страшась происков врагов. В такие моменты спасал черный юмор.

«Висит груша, нельзя скушать», – шептал, показывая рукой на изображение повешенной Космодемьянской, мой приятель Пузанов. Высовывал язык, закатывал глаза, театрально дрожал. Дети начинали потихоньку смеяться, кое-кто трясся от нервного хохота. Дело могло бы кончиться взрывом, но тут вожатые включали запись прогрессивного певца Дина Рида и все начинали петь. Однажды по школе пронесся слух: Училка умерла!

Вот это да. Значит у кажущейся бесконечной вереницы дней есть конец.

Молодая умерла! Значит умирают не только старые, которым и жить надоело, значит может умереть мама, значит могу умереть и я. И не утонуть, не сгореть, не в автокатастрофе, а просто в больнице. Пролетело и еще одно неприятное словечко – «рак». Боже, что же это за рак, который грызет внутренности человека, откуда он взялся, зачем он?

Прощаться привезли!

Прощаться. А ведь мы эту чужую учительницу и не видели никогда. Жалко, что умерла она, а не Александра Ивановна.

Строиться! Это здорово. Значит уроков сегодня не будет. Не будет больше мучительных монологов Александры Ивановны, не будет борьбы за дисциплину, придинок, угроз, проработок, не будет мучительного школьного

дня. Весь класс идет прощаться с телом, которое выставлено в актовом зале. А после прощания – домой!

На двух учительских столах стоял простой гроб, обложенный искусственными цветами. В зале было тихо. Пахло жутко – какими-то медикаментами, духами и тем самым, что остается от человека, когда душа оставляет тело. Дети и учителя подходили к гробу, смотрели в лицо умершей и уходили. Некоторые учителя целовали мертвую в лоб. Одна женщина (кажется, это была уборщица) даже перекрестилась – в те годы это могло стоить места.

Мы долго ждали. Наконец пришла и моя очередь. Я подошел к гробу. Ноги почему-то стали ватные. Руки вспотели. Вдруг я понял, как трудно оторвать глаза от пола и посмотреть на умершую. Пришлось обхитрить самого себя – посмотреть вначале в окно, на тусклое московское небо, перерезанное ветками деревьев, потом на Пузанова, который по-видимому не терялся – он показал мне язык и сделал губами знак – поцелуй, мол, мертвую, тебя вырвет. От покрытого веснушками курносого лица Пузанова я перекинул взгляд на дешевую бахрому, потом на заострившийся нос лежавшей, на не очень плотно закрытые глаза. Не усилившийся невыносимый запах и не плохо гримированный страшный образ долго мучившейся перед смертью покойной поразили меня – меня поразили цвет ее кожи. Она не выглядела как кожа человека – это была не то бумага, не то пергамент. Кожа ящерицы, изъеденная внутри тела сидящими раками. Я едва нашел в себе силы отойти от гроба. Александра Ивановна взяла меня под руку и помогла пройти к классу.

## СТЕНА

Воздушная линия «МГУ-Кремль» это главная ось Москвы. Вокруг нее вертится ее история.

По этой линии пролетел спасший меня от армии немецкий летчик-безумец Маттиас Руст, приземлившийся недалеко от Красной площади.

Пришла ко мне повестка из райвоенкомата. В ней предлагалось «прибыть с вещами». Приехал я в «брежневский» военкомат. Без вещей, конечно. На

разведку. С улицы – здание как здание. А внутри – разруха. Бумаги валяются, двери и окна открыты, сквозняк. Людей не видно. Чудеса! Выскочил откуда-то офицерик. Расхристанный весь, глаза сумасшедшие.

«Тебе чего тут нужно?»

«Ничего, – отвечаю. – У меня повестка».

Он посмотрел на повестку, на меня, и покраснел от злости. А потом заорал:

«Пошел к \*\*\*\*ой матери!»

Долго ждать я себя не заставил. Больше я дел с военкоматом не имел – обо мне забыли. А крик взбешенного мной бестактностью офицера (приперся с повесткой в такое время – все высшее военное начальство поснимал Горбач!) стал последним напутствием родины.

Добившись, после долгой унижительной борьбы с бюрократией, немецкого гражданства, я отослал старый паспорт и военный билет в российское консульство. Понюхал документы на прощанье. Ощутил знакомый кислый запах советской казенной бумаги. Защемило сердце.

Разрезал на всякий случай конторскими ножницами и паспорт и военный билет пополам. Мало ли чего. Так вернее...

В тридцатые годы на месте взорванного храма Христа Спасителя планировали построить гигантский Дворец Советов. Согласно одному из проектов на его вершине, на четырехсотметровой высоте, должен был стоять двадцатиметровый истукан – Ленин. Его вытянутая рука должна была указывать на Ленинские горы, на вершину другого, соразмерного, здания, увенчанного другим кумиром – Сталиным, указывающим на Ленина металлическим перстом. Большевики хотели заколдовать московское пространство – взгляд совка должен был по их идее метаться от одного вождя к другому. В головах Сталина и Ленина должны были находиться специальные кабинеты, в которых раз в год разрешалось бы заниматься «всепобеждающим учением Маркса-Ленина-Сталина» сталинским и ленинским стипендиатам.

Жаль, что этот проект не осуществился. Сейчас можно было бы на место Ленина и Сталина поставить Медведева и Путина, двух политических лилипутов, из всех сил старающихся стать великанами.

На месте взорванного храма построили бассейн «Москва», а на Ленинских горах



гостиницу, которую, по ходу дела переделали в МГУ. Строили его, как и все остальные высотные здания Москвы – заключенные.

А про бассейн во времена моего детства рассказывали, что там, под водой, религиозные фанатики-изуверы режут детей. Из мести за взорванный храм. Этот вздор рассказывал мне дедушка, по опыту знавший, что в России все возможно. Его самого, например, чуть не убили в маленьком городке под Ленинградом во время еврейского погрома, произошедшего там в тридцатые годы. Его пощадили, признав в нем игрока одной из популярных футбольных команд. Во времена преследования «врачей-убийц» уже вышвырнутый из партии дед чудом избежал ареста – предупрежденный друзьями, уехал в Сибирь. Вернулся в Москву в 1954-м году.

Помню, как на меня посмотрели коллеги, когда я предложил на институтском собрании молодых ученых перенести главное советское торжество с 7 ноября на 5 марта и назвать его всесоюзным днем радости или НПС (Наконец Подох Сталин). Тогда мне впервые официально пригрозили психушкой... Я ответил – праздник можно сделать переходящим...

Мое поколение радовалось когда умирали один за другим Брежнев, Андропов, Черненко... Сегодняшнее поколение вздохнет с облегчением только когда умрет Путин...

Я поступил на механико-математический факультет МГУ в 1973-м году.

Гордиться было особенно нечем – все мои талантливые одноклассники-евреи не поступили. А я – посредственный математик, полуеврей, сменивший при получении паспорта еврейскую фамилию отца на русскую фамилию матери – поступил, и мне было стыдно. Но я забыл стыд, попав после экзаменов в студенческий лагерь в Пицунде. Раздетые девушки, теплое море, абхазское вино Псоу и пять прозрачных плиток времени – пять предстоящих лет студенчества, отвлекли меня от тягостных размышлений.

В математику и механику я на мех-мате не вникал. Гораздо интереснее, чем учиться, было глядеть в окошко, пускать бумажных голубков с головокружительной высоты и строить воздушные замки. Или вообще удрать с лекций и гулять по переулкам Арбата или Замоскворечья... Зайти в Пушкинский

к Крапаху и Рембрандту, в Третьяковку – к Врубелю и Рублеву, выпить коктейль в кафе «Космос» на улице Горького под музыку группы Slade, а вечером послушать симфонию Шостаковича в Большом зале консерватории. Еще лучше – никуда не ходить, а целоваться с милой подружкой в университетском парке и рассказывать ей всякие небылицы, а вечером напиться в компании милых друзей...

Так я и жил, о будущем не думал, и уж конечно, никогда бы не поверил, если бы какой-либо паршивый пророк предсказал, что наша «великая советская родина» исчезнет как дым, а я стану эмигрантом.

Кстати, евреи, не поступившие тогда в МГУ, поступили в другие, непрестижные московские вузы, а затем уехали за границу. Им было ясно, что будущего в стране советов у них не будет. Они не тратили время зря. Сделали карьеру, получили то, что хотели, стали тем, кем хотели стать. Т.е. в результате – выиграли.

Московская жизнь в 70-80-х годах была безнадежным ожиданием прихода какого-то нового эона или, как нас учили преподаватели марксистской философии, «смены общественно-исторической формации». Наша страна представлялась нам огромным лагерем, окруженным минными полями и стенами из колючей проволоки.

О Западе мы судили по кино. Приехав в Германию, я ожидал увидеть надорванных людей Фасбиндера, попав в Нью-Йорк, надеялся встретиться с подростками из «Вестсайдской истории», в Риме невольно искал персонажей «Сладкой Жизни» Феллини, на Аляске – Белого клыка, а в Испании – обаятельную буржуазию Бунюэля...

Заграничную жизнь мы представляли себе примерно так, как Ленин – коммунизм. Полагали, что тамошняя жизнь это жизнь тутошняя плюс свобода, богатство, кадиллаки, кока-кола. Мы догадывались, что западные люди в своем разумном государственном устройстве ушли так далеко вперед, что догнать их нам невозможно. Догадывались, но не расстраивались... Потому что были твердо убеждены, что в гуманитарном развитии, мы впереди. Принимали относительную юность русской духовной культуры за ее силу.

Широко пользуясь преимуществами советского режима и соблюдая внешне его обрядность, внутренне мы, как могли, ему сопротивлялись. Самое трудное было – не бояться.

Жизнь наша была легка, гораздо легче, чем ее представляют себе западные люди. Многое нас не тревожило. Например, о деньгах мы не заботились, – почти все честные люди были бедны. Недвижимости и частной собственности практически не существовало, автомобили были недоступны, да и не нужны, потому что в Москве есть метро, путешествия за границу были разрешены за небольшим исключением только жополизам и шпионам, хорошие шмотки были слишком дороги. Питались мы более чем скромно. Почему-то запомнилось, что в ноябре-декабре 1980-о, олимпийского, мерзчайшего года, мы с женой так и не смогли купить ни мяса, ни колбасы, ни сыра, ни шампанского для празднования Нового года, но не горевали, сварили и съели рис с майонезом, выпили водки, потанцевали и легли спать.

Не уехавшие попадали в эмиграцию внутреннюю. Желание сохранить индивидуальность и хотя бы половинчатую свободу в недрах тоталитарного государства загоняло в угол все той же пресловутой духовности. Она компенсировала нам уродливо обедненное повседневное существование, отсутствие нормальной экономической, политической и культурной жизни. Мы причисляли себя к избранным, хотя были всего лишь хорошо описанными в русской литературе «лишними людьми». Мы упорно пытались идти по путям, перпендикулярным к генеральной линии советской жизни. Писали стихи, ходили в церковь, рисовали, изучали восточные языки... К сожалению, настоящим поэтом, художником или православным невозможно стать, убегая от жизни. Опасно принимать лепет отравленного веселящим газом за экстаз посвященного. Концентрированная, почерпнутая из книг, протестная духовность портила здоровье. Многие скисли, устали, спились. Не дотянули и до сорока. Некоторые превратились в националистов, государственников, религиозных фанатиков.

Почти все страдали манией величия...

После университета я работал в Нии. Работу эту я не любил, она вызывала во

мне экзистенциальную тошноту. Каждое утро нужно было тащиться в институт. Жена вела плачущую дочку в детский сад. Я выходил из дома с тяжелым чувством бессмысленности жизни. В автобус не всегда удавалось втиснуться. Иногда я читал в автобусе молитвы. Зажатый как кусок жира в колбасе со всех сторон пассажирами, старался смотреть на мир сквозь маленькие мои или чьим-то дыханием оттаявшие оконца в огромных покрытых льдом и инеем окнах икаруса. Там плясали пятна света, причудливые тени убегали назад. Странное черно-белое кино пробуждало к жизни поток ассоциаций, который я пытался загнать в разумное русло... И использовать его энергию для завоевания мистических просторов. И это удавалось – христианские анахореты, после долгих лет борьбы с искушениями достигавшие просветления, были бы неприятно удивлены, узнав, что блаженного общения с высшими сущностями мира можно достичь не только в египетской или сирийской пещере, но и в переполненном обозленными людьми московском автобусе, несущемся сквозь снежные вихри по кольцевой дороге.

Я читал молитвы, и вкрапленный в старославянский язык мед улащивал горечь жизни, внутренний огонь переставал жечь и превращался в свет, ясеневский автобус преображался в метафизический транспорт и вез меня уже не от дома к метро, а от внутреннего хаоса – к внутреннему миру, к чудесной ясности.

Временные эпохи сдвигались, сближались. Реальность развитого социализма нехотя уступала место кумранским ландшафтам. Я видел ослепительное небо, фиолетово-синее Мертвое море, желтые каменистые холмы с дырками пещер и провалами в преисподнюю, козью тропку между скал. По этой тропинке шел, почти не касаясь земли, Учитель праведности в белой одежде, за ним карабкались ученики, женщины с больными детьми на спинах, бездомные и юродивые... К этой группе пристраивался и я... Бил ногой валяющиеся повсюду камешки, пугал ящериц. Впереди мелькала белая фигура, я слышал звук шагов и тихое пение, ощущал щеками движение теплого воздуха...

Из автобуса я выходил преображенным... Но уже через несколько минут превращался в московского дьявола. Спускался в адскую пасть метро.

Метро не только ломало кости, испытывало на выносливость сердечную мышцу, но и убивало душу. Грохотом, теснотой, запахами, вынужденной близостью с

чужими ненавистными людьми...

После метро – опять автобус, троллейбус...

И вот, я прохожу помпезную колоннаду, открываю тяжелую дверь и вхожу в здание института. Показываю пропуск, поднимаюсь на третий этаж и попадаю в «лабораторию».

Атмосфера в лаборатории была терпимой только до тех пор, пока не начинались дразги, порождаемые постоянной борьбой за лидерство альфа-самцов. Или завистью дам. Липкина купила новые сапожки. Митькин получил премию на десятку больше, чем я. А он, между прочим, на овощебазу не ездил. И частушки пел... Просыпаюсь утром рано, нет Луиса Корвалана...

Или завлаб начинал демонстрировать свою власть. Или придурок-парторг. Или профорг. Ответственный за технику безопасности. Главный инженер. Научный руководитель. Замдиректора. Табельщица. Все эти рогатые крупные звери могли запросто забодать... Отравить жизнь младшему научному сотруднику... И они бодали и отравляли...

Я пытался ни во что не вмешиваться, делать необходимое и вести себя тихо. Из себя меня выводило отвратительное подпевание советской пропаганде, которому с непонятным упоением холуйства предавались мои коллеги, независимо от своего положения и интеллектуального уровня. Когда сбили корейский самолет и погибли две с половиной сотни невинных людей, я был единственным участником чайной дискуссии, не поверившим, что Боинг-747 выполнял шпионское задание. Гомосоветикусы думали то, что им внушали, даже когда факты очевидно опровергали пропаганду. Переспорить их было невозможно. Когда советские пограничники расстреляли с вертолетов на замерзшем Беринговом проливе десятитысячное стадо оленей, которое наши чукчи решили перегнать чукчам американским, я никого не смог убедить в том, что это преступление. Мне отвечали – все равно мы этих оленей больше бы не увидели. К людям они относились еще хуже чем к оленям. До тех пор, пока опасность не касалась их лично...

Я не мог сдерживать эмоций и говорил, что думал. За это на меня злились, обносили пирогом. Мне не нужно было их пирогов – я хотел только, чтобы меня не заставляли тупо отсиживать часы, когда работы не было.

Среди моих коллег были мастера ничегонеделания, достигшие в этом ежедневно практикуемом ремесле совершенства. Один, например, научился спать с открытыми глазами, а другая – читать, делая вид, что печатает на машинке. Я же бесился, сгорал... Моя дневная жизнь начиналась только после того, как я возвращался домой и брал в руки кисть или книгу.

Я жил, как и многие другие – двойной жизнью.

Из-за непрекращающегося давления советской системы на человека в его сознании образовалась стена. Она отделяла официальную жизнь от частной.

Сооружена стена была из крепчайшего, крепче алмаза, материала – из страхов и ужасов. В ней не было пропускных пунктов.

Упрощенно ее можно представить как круг. Внутри круга – цвет зеленый, там человек живет, отдыхает, общается с семьей и друзьями и говорит правду. Вне этого круга – цвет красный, это зона казенная, зона лжи. Тут, чтобы выжить, надо лгать и изворачиваться, интриговать, отвечать ударом на удар, подсиживать, доносить, пожирать противников.

Это был, конечно, не один круг, а множество кругов, петель и всяческих загогулин, настоящий лабиринт, в котором металось бедное совковое «я». Я пытался изобразить на бумаге подобные «карты сознания», линии на моей графике советского периода – это стены, цвета – оттенки страха и отчаянья.

...

Пошел я однажды на демонстрацию.

Собирались идти на Красную площадь, где на Мавзолее должно было стоять руководство СССР. Вдохновленные перестроечным духом граждане хотели продемонстрировать солидарность с Прибалтикой, рвущейся вон из СССР.

Местом сбора была площадь напротив входа в Парк имени Горького.

От Ленинского проспекта до самой середины Крымского моста стояли люди.

Над толпой реяли флаги. Гигантские желто-голубые знамена украинских националистов, черные полотнища анархистов. Были и русские националисты и еще кто-то. Но в большинстве своем в толпе стояли, переминаясь с ноги на ногу, ёжась от ледяного ветра «представители интеллигенции», для которых свобода и

независимость Прибалтики была символом собственной свободы и независимости «от них». Советский строй надоел, осточертел, как детям в пионерских лагерях осточертевала прогорклая перловая каша. Неодолимо влекло будущее. Тогда, в конце зимы 90-о, нам казалось, что история страны зависит от нашего мужества.

За несколько недель до проведения демонстрации телевидение начало кампанию запугивания потенциальных демонстрантов. Распускались слухи, что КГБ организует провокации для оправдания применения насильственных действий, цель которых запугать страну «для решительного поворота назад».

Тронулись. Толпа скандировала: СВОБОДУ ПРИБАЛТИКЕ! ДОЛОЙ ПОЛИТБЮРО! СВОБОДУ! СВОБОДУ!

Какое же это счастье, после годов молчания – не говорить, а орать то, что думаешь! И не в одиночке тюрьмы или психушки, и не в подушку, а на улице своего города, среди своего народа, в котором впервые видишь не злобное стадо, а собрание свободных людей, объединенных альтруистической идеей. Какие хорошие лица вокруг. Почему я раньше не замечал, что в Москве живет столько замечательных, светлых людей!

Подошли к Красной площади. Вышли на середину. И сразу увидели злобное лицо Горбачева, почти до носа закрытое шляпой и высокомерно-брезгливые лица других членов политбюро на мавзолее. И солдат на крыше ГУМа. И их пулеметы, больше похожие на пушки. В кого же они собирались стрелять? ДОЛОЙ ПОЛИТБЮРО! СВОБОДУ ПРИБАЛТИКЕ!

Вот тут-то и рухнула проклятая стена страха в сознании. И не от трезвых расчетов или чувства толпы. Сколько потом ни убеждало телевидение, что никто по демонстрантам стрелять не собирался, что никакой опасности на самом деле не было и все рассказы очевидцев – преувеличение, я видел злобные рожи тогдашних хозяев страны, видел и оружие, направленное на небооруженных людей. Страх исчез, потому, что подошли сроки, плод созрел, кончилась СССРИЯ...

Увы, Россия не умеет пользоваться плодами своих побед. Ни стойкость русских, ни их добросердечие не помогают. Теория систем берет свое. Не может

великорусский динозавр, мыслящий как кретин и двигающийся как паралитик, выжить среди маленьких шустрых и умных зверьков. Надо разделяться на мелкие государства, способные на приспособление к изменяющемуся миру. Отражающие разнообразные интересы их народов.

Сиамских близнецов можно с большим трудом разъединить хирургическим путем, но они не могут сделать этого сами – история не знает примеров, когда гигантская империя разделила бы себя сама, добровольно. Без помощи скальпеля. Самозакабаление и реакция, следующие за недолгими периодами относительной свободы – единственная закономерность в историческом существовании России. Уже через несколько дней после путча стало ясно, что Ельцин не способен решать исторические задачи, вставшее в тот момент перед страной. Что русские люди в своем подавляющем большинстве лишены чувства гражданственности, не имеют и не хотят иметь понятия о демократическом устройстве государства и связанных с этим правах и обязанностях. Что даже слаборазвитое мещанское общество невозможно построить в застрявшей в архаическом патернализме России, которой всегда надо кого-то давить, кого-то грабить, с кем-то бороться, от кого-то избавляться, кого-то воспевать, кому-то – подличая подчиняться. Что грядет захват кучкой расторопных негодяев национального достояния, локальные войны с тысячами жертв, ограбление природных ресурсов, экологические катастрофы, снижение рождаемости и повышение смертности, восстановление господства КГБ, слияние государственных и криминальных структур, антизападная внешняя политика... А в недалеком будущем нас всех ждет новая тоталитарная Россия, угроза для существования жизни на Земле.

Все в очередной раз пошло к черту. Следующие за путчем десять потерянных лет Россия прожила не в историческом времени, а в каком-то мучительном безвременьи. Население ее уже и не ждет ничего хорошего – лишь бы не потерять, что имеешь.

Они готовы жить в тирании. Единственное, что осталось от славного времени надежд, несмотря на горечь разочарования, это души, свободные от внутренних сталинских стен страха. Люди, живущие пусть и скверной, но не раздвоенной жизнью.



Через 15 лет после путча Путин с своими сатрапами заново отстроили стену  
страха в сердцах россиян. На том самом месте, где стояла прежняя, сссэровская.  
Многие вздохнули с облегчением...